

## Григорий Померанц Со смотровой площадки

Я поднялся на смотровую площадку над Куршской косой и снова почувствовал свою нераздельность с ширью. Плеснуло чувством внутренней бесконечности, откликнувшейся бесконечности зримой. Прежде это было с вершины холмов над Коктебельской бухтой и над озером Рица, в Сосновке. Высота давала мне крылья, и красота простора рождала внутренний простор.

Пока бескрайность охватывается взором, она прекрасна. Хочется откликаться ей и расправляться в отклике и парить в небе. Прекрасное – это та часть ужасного, которую мы можем вместить, – писал Рильке. Но за зримой частью бескрайности, за бескрайностью неба и моря – темная бескрайность, ужас бездны, в которой мы тонем, темная ночь космического пространства с редкими точками звезд. Впервые этот ужас почувствовал Паскаль и попытался противопоставить ему гордость разума: «человек слаб, как тростник, порыв ветра может сломать его, но этот тростник мыслит, и если даже вся вселенная обрушится на него, она не может отнять этого преимущества». Что-то подобное приходило и мне в голову еще в юности: человек превосходит солнца и туманности своим внутренним богатством, его бытие полнее бытия грубой материи, сколько бы ее ни скопилось. Но это ни меня, ни Паскаля не могло вполне удовлетворить. Нам хотелось, как подпольному человеку Достоевского, чтобы дважды два стало пятью, чтобы мы, маленькие люди и даже один человек, встав на незримые весы, уравновесил другую чашу, на которой вся бесконечность пространства, времени и материи.

Страх смерти сравнительно легко преодолеть, полететь над таким страхом может любой обстрелянный солдат. Пушкин это знал: «все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья...» Но что делать, если все, что мне дорого, тонет в холодной бесконечности, вся земля с ее пирамидами и зиккуратами. «Все вечности жерлом пожрется и общей не уйдет судьбы...»

Я попытался доказать, что ньютонова модель вселенной с ее бесконечными пространством и временем – призрак, научная модель, годная для научных целей, но ничтожно узкая сравнительно с полнотой, вмещенной в наше большое Я. И если это Я есть, то бесконечности нет, призрак дурной бесконечности тает. После трех месяцев медитации пришел проблеск внутренней бесконечности, уравнивающей внешнюю, и на волне этого опьяняющего чувства пришли две мысли, казавшиеся мне очень важными, но на самом деле давно известные. Паскаль достиг большего, почувствовав в своем сердце огонь, в котором власть материи сгорала, и зашил свидетельство об этом в подкладке камзола. А я очень поздно понял, что суть не в словах, а в волне, принесшей их, в зарнице «того», внутренне беспредельного, бессмертного атмана, залива бессмертного океана в нашем хрупком смертном сознании.

Именно это чувство внутренней бесконечности помогло мне преодолеть фронтовой страх. Я уже много раз писал, как лежал на земле и дрожал от страха, придумывал аргументы против страха – и ничего мне не помогало. А вспомнил, что бесконечность меня не испугала – и сразу всё прошло.

С этих пор я легко прошел все фронтовые годы. Опасность только возбуждала меня. Иногда я даже пьянел от нее и лез на рожон. Можно ли это объяснить действием адреналина? Почему адреналин не помогал капитану Цукерману? Ему приходилось подавлять страх усилием воли. Я пытался пересказать Цукерману веселую легкость, с которой жил под огнем, но она не передавалась словами. И парторгу батальона, сержанту, назначенному из слесарей ремонтной мастерской, ничего не помогало. Он даже скрыть не мог своего страха, на него жалко было смотреть. Видимо, адреналин давал свое опьянение только тогда, когда психика открывала ему дорогу, когда душа как-то принимала опасность, риск как условие игры, как часть радости жизни, как своего рода гору, на которую надо влезть, чтобы почувствовать простор. Этот опыт сказался во мне и после войны – в той области, где я чувствовал свою силу, в царстве слова. В драку на улице я не лез ни в юности, ни в зрелые

годы: знал, что руки у меня слабые. А чувство силы рождало охоту рискнуть на схватку.

Привыканием к адреналину можно объяснить другое: бесшабашность после боя, на исходе боя, довольно полную аналогию бесшабашности после выпитого вина, сперва возбуждающего мозг, а потом затуманивающего. После войны Григоренко застал двух своих офицеров, стреляющих друг в друга, чтобы еще раз пережить победу над страхом. Почувствовать внутренний простор без свиста пуль они не умели.

Я думаю, что адреналин действует и среди животных. Но у людей решает другое. Во всяком случае, у таких людей, как Паскаль, Тютчев, Толстой, Достоевский. У Тютчева есть стихотворения, проникнутые отчаяньем, подобному отчаянью подпольного человека перед «стеной» и даже без подпольного бунта против «стены» научных доказательств. Но есть и другие стихи, где видно, что «бездна», «ночь» и пугает, и влечет.

...настала ночь.

Пришла, и с мира рокового  
Ткань благодатную покров  
Сорвав, отбрасывает прочь.  
И бездна нам обнажена  
С своими страхами и мглами,  
И нет преград меж ней и нами.  
Вот отчего нам ночь страшна.

Последняя строка упрощает дело. Описание ночи перекрывает первую половину стихотворения – о красоте дня. Тютчев любит ночь. Это особенно видно в другом стихотворении, «о чем ты воешь, ветер ночной»:

...О, страшных песен сих не пой  
 Про древний хаос, про родимый.  
Как жадно мир души ночной  
Внимает повести любимой.  
 Дыханье рвется из груди  
И с беспредельным жаждет слиться...

Я подчеркиваю решающие строки. Душа поэта, подобно девушке в объятиях любимого, и страшится близости, и рвется к ней – но останавливается на пороге. И мне, надышавшись Тютчевым, захотелось тогда, в 1938 году, перейти через порог, погрузиться в ужас бездны – и пройти сквозь ужас, доглядеться до конца, до света, который непременно будет за краем бездны, за дурной бесконечностью, созданной отвлеченной мыслью. Когда родилось чувство внутренней бесконечности, дурная бесконечность исчезла. Хотя я только через много лет смог назвать, что именно во мне родилось. И я понимаю, что без чувства внутренней бесконечности слова сами по себе бессильны, даже прекрасные слова Кришны Арджуне: «Если бы я перестал действовать, исчезли бы все миры, и потому – сражайся, Бхарата!» Эти слова убеждают только того, кто чувствует свою слитность с Кришной, нераздельность Бога и человека. Тот, в ком есть это чувство, способен преодолеть страх и без магических слов, без стресса, созданного риском. Чувство внутреннего всемогущества приходит к нему от созерцания моря, гор, деревьев. «Разве можно видеть дерево и не быть счастливым?»

Но вот вопрос: всегда ли это созерцание доходит до божественной глубины? Не перехватывает ли его по пути дьявол?

Рудольф Штейнер делил грешников на два сорта: аримаников и люцифериков. Ариманики просто не верят в свои силы, не верят в собственную глубину. Они ищут чужого руководства, вяло примыкают к добру и легко мирятся со злом. Хата у них всегда с краю. А там хоть трава не расти, они бунтовать не будут. Люциферики активны, увлекаются новыми идеями и своей

способностью «бежать впереди прогресса». Их захватывают примеры величия в природе и в искусстве. Маркс любил «титанов Возрождения», Ленин – Бетховена. Сталин вызывал ночью Гилельса – играть бетховенские сонаты. В Сосновке, где кольцо гор просто тянет душу в небо, он велел построить беседку и приезжал в пять утра слушать соловьев. Что его тянуло? Что в нем откликалось горам? Чувство первенства, желание первенствовать и убирать с дороги всех, кто оспаривал первое место. Люциферик не может удовлетвориться вторым местом и оставить первое место свободным для Бога. Его захватывает собственное величие. И здесь его ловит дьявол и делает исполнителем своей воли. Люциферик и в Бетховене, и на Сосновке насыщается энергией дьявола, энергией первенства, ставшей энергией разрушения. Этот соблазн дремлет во многих душах, где спор еще не решен, где дьявол борется с Богом и соблазняет нас утвердить свою бесспорную, несравненную правоту. И пока чувство правоты сильнее Любви, дьявол побеждает. И святые, боровшиеся с ересями, не замечали, что отпадают от Бога.